

СКАЗКИ ДЛЯ МЕРТВЫХ ДЕТЕЙ

СКАЗКИ ДЛЯ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ

ДМИТРИЙ ГАРИЧЕВ



КНЯЗЕВ И МИСЮК • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХХ

LE SURVEILLANT



ТИЛЕМАН пробудился так рано, словно бы ему, как десять или пять лет назад, предстояла дорога в университет; он прошёлся по комнатам, полным внимательной тьмы, посмотрел, как перебегают огни на оставленной лесопильне, промочил пересохшее за ночь горло и решил, что не будет уже возвращаться в постель. В доме напротив этажом ниже уже горели чьи-то окна, двигалась как из плохого картона выстриженная фигура, и Тилеман, не желая дать знать, что он тоже не спит, не стал включать свет. Он и днём старался, чтобы те, кто живёт здесь, различали его только в крайнем случае, когда нужно не столкнуться на лестнице; вообще не знал, как зовут людей с его площадки и никуда не звонил, когда за стеной, по всему, пытались кого-то убить. Ученики, поднимавшиеся к нему, жаловались на грязь и угрозы в подъезде, но Тилеман делал пустые глаза: в городе не было другого француза, способного работать с тугими здешними детьми, и он мог не вдаваться

в такие детали. Только раз изменил он себе, когда мальчик, ходивший к нему уже год, застрял на третьем, припёртый всклокоченной бабой, неизвестно кого в нём признавшей; Тилеман тогда взялся за трость, без спешки спустился и трижды хлёстко ударил по тряской спине, приговаривая *Salope!*, пока та не отстала. Дома он промыл расцарапанного мальчика перекисью, дал ему чистый платок и начал урок, удержав себя от лишних утешений.

¶ С чёрной улицы проникал холод, голые ноги прилипали к паркету; опасаясь застыть, Тилеман наконец оделся, завёл кофемашину и выбрался на балкон, откуда сквозь клёны был виден край высококого дома и флигель прислуги под синеватым фонарём. Они ждали его сегодня к десяти, и визит этот должен был стать двойной вехой: *primo*, до этого дня Тилеман занимался с учениками единственно у себя, *secundo*, он, кажется, оставался последним из благополучных горожан, всё еще не побывавшим в гостях у Высоцких. Появившись как будто из Литвы, они стремительно построились на оставшемся от интерната пустыре в прошлогоднее лето: в несколько недель над промоченной всеми собаками землёй вырос каменный замок с итальянскими окнами и цветным мезонином, исполненным как из фарфора; местные, как этого следовало ожидать, отнеслись к новичкам настороженно, и когда те въехали в дом под начало учебного года, кто-то из непримиримых метнул к ним во двор две зажжённые бутылки, одна из которых угодила

в клетку с овчаркой, а другая в розарий. Нападение было устроено, как полагается, за полночь, и кое-как успокоенные пожаром поселяне оказались застигнуты врасплох, когда поутру в поражённом дворе раздалась настоящая музыка, над гребнем ограды поднялись гроздьё воздушных шаров, а ворота с кентаврами распахнулись, открыв общему взору не только сторевший парник и останки овчарки, но и блистательную карусель, где на пряничном тянитолкае спиною друг к другу сидели, возносясь и снижаясь, две девочки-погодки, одетые в не по-осеннему лёгкие платья, голубое и жёлтое. Сосредоточенный оркестр из двух десятков музыкантов сиял из глубины двора. Пока робкие зрители, вышедшие из подъездов, протирали глаза и без слов переглядывались между собой, вокруг карусели возникли столы и кресла, ловкие азиатки вынесли на подносах охапки напитков и холмы угощений, а на пороге нарисовались Высоцкие-старшие: сухощавый и смуглый глава в рыжей тенниске, джинсах и кедах в пёструю полоску, и смущённая жужелка-жена в чем-то тоже полуспортивном, но подобранном будто бы наспех, по словам тилемановой матери, жившей здесь же и не упускавшей ничьей неудачи. Она же рассказала, как малое время спустя первые поселянки с детьми, вытянув шеи, вкрадчивым шагом приблизились к месту праздника и, подбадриваемые хозяевами, усадили своих на свободных лошадок и единорожек, а сами, ещё не подняв до конца головы, подняли бокалы за

успех новоселья. Ещё погода подступила с подругами мать Тилемана, а за ними к столам уже двинулись все остальные: распиловщики и химзаводские, черпаки из торгового колледжа с переходящими тёлками, пропойцы и признанные несчастливцы. Высоцкий-отец подходил ко всем с одинаковым любопытством, увлечённо шутил и помногу кивал, жена его, оживляясь, повторяла и кивки, и шутки; о досадном поджоге никто не хотел вспоминать, карусель визжала напропалую, на месте стаявших курганов сладостей тотчас вырастали новые, а когда приглашенный оркестр без всякой видимой причины взял первые ноты *Mistaken for strangers*, то и Тилеман перегнулся в халате за перила балкона, не веря своим ушам, и висел так, пока главная песня его прежних учебных кочевий не сменилась чем-то общепонятным вроде группы «Ленинград».

¶ Словом, Высоцкие угодили всем, и ещё не под вечер поселковые старейшины уже пообещали семье, что ночные метатели будут отысканы и переломаны, но хозяева изобразили, что не понимают, о чём с ними говорят. Девочки их не слезали с осёдланного тянитолкая весь день, и, со слов тилемановой матери, отвечали на все обращения жестами или одними глазами: старшей было четырнадцать, младшей тринадцать, рассказали родители, воздержавшись от других объяснений; проговорились лишь, что обе учат самостоятельно по четыре языка и уверенно играют в го, но последнее мало кто понял. Уже на следующий

день на примыкавшую к владению Высоцких спортплощадку приволокли не слишком упирающихся Славилов первого и второго, всеми признанных подрыльников, и, растянув на турниках, отходили дубьём, применявшимся здесь же для выколачивания ковров. На шум казни, однако, не вышел никто из Высоцких; в глуповатой растерянности палачи и сочувствующие попросили измученных Славилов покричать ещё просто так, но как те ни старались, в итальянских окнах не дернулась ни одна занавеска. От отчаяния решено было оставить отделанных на том же месте, чуть ослабив ремни, до тех пор, пока новички не обозначат, что их покаяние принято. Разойдясь, поселяне продолжили наблюдать за площадкой с балконов, и лишь к трём часам пополудни, когда Славики уже обмякли и больше не шевелились, из высокоцких ворот выкатились в беззвучном электромобиле обе сестры; подрулив напрямик к турникам, они освободили привязанных даже не выбираясь из машины, и когда те без сил свалились им под колёса, обработали им повреждения и укатили обратно к себе за ворота. Выждав ещё с четверть часа, наблюдатели возвратились забрать пострадавших: оба Славики в кровоподтёках размером до яблока улыбались так нежно, что можно было заподозрить в них расстройство рассудка, и доброжелатели поспешили оттащить их в квартиры подальше от глаз остальных.

¶ Думали, что, блеснув в приветственный раз, великодушное семейство нескоро снова подпустит к себе

здешний сброд, но не долее чем через неделю Высоцкие пригласили всех биться в лото вокруг неиссякающей бочки с маршмэллоу, ещё через одну выписали к себе на месяц двух корейцев, чтобы те из жителей, кто пожелает, могли тоже освоиться с го, а ещё погода, словно бы догоняя отходящее лето, завели у себя во дворе вольный кинотеатр, и стеклянными вечерами в конце сентября поселяне стекались к ним с пледами и термосами на просмотр новых русских комедий. Тилеману, конечно, всё это не нравилось: в детстве он застал гуманитарную помощь и до сих пор ощущал в себе стыд за тогдашние бананы, которые он был не в силах отвергнуть, разве что выбросить, но так с едой не поступали; взрывы смеха, доплескивавшие до его этажа, заставляли его прятать голову в плечи. Как уже было сказано, он старался не показываться снаружи без особой нужды и уж точно не во время кино у Высоцких, но однажды как раз накануне сеанса на его маленькой кухне так чудовищно развонялись очистки от рыбы, что Тилеман не стерпел и рванулся с ведром на помойку, догадавшись, что рыбий смрад вкупе с гоготом снизу сведёт его с ума.

¶ Путь его непременно лежал через пыточные турники, и почти на бегу он, как ни отводил глаз, всё же увидал начальные кадры из фильма: девочка в жёлто-пепельной комнате играла с огромной собакой на железной кровати. Тилеман замер как вкопанный и начал отмаргиваться, сиюсья рассеять обман,

но принуждён был признать, что этим вечером Высоцкие крутят «Пустоши» Малика; озадаченный, он осторожно завернул к ним в распахнутый двор проследить за собравшимися и проверить, нет ли среди них матери, а если есть, то, пожалуй, присесть вместе с ней, чтобы та не слилась, когда станет понятно, что лёгкого фана сегодня не будет. Пробираясь между тёмными рядами сидящих, он скоро запутался и хотел уже просто погромче спросить, здесь ли мама, но на него уже плохо косились, и тогда он спохватился, что так и не донёс до помойного бака свой ужасный мешок. Как укушенный, Тилеман бросился вон и не остановился даже после того, как избавился от позорной ноши: ноги сами несли его дальше, в становящийся уже угольным лес, на просеку, уводившую к дальним воинским частям; в пробегаемых деревьях вспыхивал собачий лай, трещали невидимые птицы, плутали несвойственные голоса, а он всё не мог остановиться и кончил тем, что уткнулся в солдатский пруд, выложенный бетонными плитами: он даже не успел разглядеть черневшую перед ним воду и усвоил, куда он попал, только почувствовав её у себя в ботинках. По правую его руку торчала сквозь сумерки незнакомая железная вышка в три человеческих роста, и вид её вселял в Тилемана тревогу, которой он не мог себе объяснить, а только смотрел и смотрел, пока не различил, в чём здесь дело: чешуя жёлтой краски, покрывавшая вышку, пребывала в непрерывающем мельчайшем движении, словно выстраиваясь

для чего-то. Он расслышал её тонкий шорох, жесткокрылое ползание на железных стеблях; движение это усиливалось, нарастало, тяжёлая его сердце, не способное вникнуть, что делать, но когда Тилеман наконец разобрал, что на ближайшей к нему опоре формируется крохотный, но вполне узнаваемый рот, его с такой силой толкнуло прочь, что он весь изодрался, проламываясь обратно на просеку. Добравшись до дома, Тилеман облепился пластырями, вынул коньяк и подаренный кем-то из учеников шоколад, включил *Das Wohltemperirte Clavier* и пил без передышки, пока не уснул в своём кресле.

¶ Хотя Высоцкие и привадили местных к своему двору, будто бы компенсируя этим захват интернатской земли, всё же они не особенно торопились пустить хоть кого-то из них к себе в комнаты, несмотря на заметно густевшее в обществе нетерпение и растущие домыслы на этот счёт. Слухи усугубились после истории с газовиком, вызванным для проверки котлов и оказавшимся, видимо, первым из городских, кто переступил их порог: это был молодой человек в нарядном синем комбинезоне, и даже с дальних балконов было видно, какие широкие у него руки; он провёл у Высоцких три или четыре часа, после чего к воротам прибыло дорогое такси, и Высоцкий-отец, выведя покачивающегося газовика со двора, усадил его сзади и захлопнул за ним дверь. Через несколько дней кто-то из поселян, знавшийся с контролёршей из газовой конторы, рассказал тилемановой матери,

что проверщик, приехавший в частный дом на их улицу, сдал дела, инструменты и комбинезон, во всех графах увольнительной анкеты поставил одно только крупными буквами НЕТ и скрылся из города неизвестно куда. Тилеман посмеялся с истории: до десятка его однокурсников, оставшихся после диплома на съёмной в Москве, тоже бросили всё, недолго преподавав на Остоженке и Рублёвке, и разъехались по своим областям; он легко понимал их.

¶ В октябре начались простуды, и следующим гостем нового дома стала детский врач Краплева с острым птичьим лицом, предсказывающая будущее по лимфоузлам: она пробыла за дверями значительно меньше, чем газовый мальчик, но в итоге ей тоже подали такси; до машины её провожала Высоцкая-мать, и обе они улыбались как лучшие подруги, встретившиеся после долгого разброда. Это сгладило общее мнение о случившемся с газовиком, — впрочем, история эта и так никому не мешала как ни в чём ни бывало подтягиваться на сеансы; разве что оба Славика, пристыженные двойной добротой девочек, держались подчеркнута посторонне, и когда весь посёлок сходил на очередной показ, они как в каком-нибудь девяносто девятом занимали дальнюю скамью в привычном дворе и заливались пивом по акции, уходясь домой, как и все, после того, как Высоцкие гасили проектор. Поведение это в конце концов было замечено, и в один из вечеров отец семейства в шведской шинели, придававшей ему вид величественный,

запросто подошёл к оплывающим Славикам и предложил им явиться завтра, чтобы помочь с перестановкой мебели, если, конечно, у юношей не будет слишком болеть голова.

¶ Юноши не упустили свой шанс к примирению и явились как им было сказано; этот визит продлился ещё дольше, чем посещение газовика, и на следящих балконах уже начали паниковать, когда Славикам наконец вышли наружу, прижимая к груди наградные пакеты. Они тоже смотрелись не очень устойчиво, хотя и не так безнадежно, как тот первый мальчик, пересмеивались с провожавшим хозяином и как будто удивились, когда не увидели перед домом такси. Распрощавшись с Высоцким, они медленно побрели к своим подъездам, отдуваясь и шаркая подошвами кроссов. Умотались, спросила с балкона укутанная тилеманова мать, и Славикам оба застыли, с трудом поднимая к ней выскобленные лица, но не произнесли ни слова в ответ и остались стоять не сводя с неё глаз. Мать попробовала помахать им, но всё было мимо; смутившись, она ретировалась в комнату. Через день Славик первый слёг в ЦРБ с позвоночником, но в этом, само собой, не было ничего неожиданного; Высоцкие отправляли к нему курьеров с фруктами и, надо было думать, мотивировали докторов, но когда починенного Славика отпустили домой, тот повёл себя самоубийственно: дождавшись того самого часа, в который они с тёзкой летом спалили новосёлам цветы и собаку, он при помощи стрелялки пе-

ребрался через незащищённый забор их и стал что есть мочи ломиться в запертый дом, выкрикивая в ночной воздух нечто нечленораздельное, но звуча скорее жалобно, нежели ожесточённо. На грохот из флигеля высунулись садовник и горничная, но Славик был страшен в своём помешательстве, и они не посмели к нему подойти; поселяне же, хоть и были готовы скрутить погромщика, не решались перемахнуть вслед за ним за чужой забор, предугадывая, что патруль будет здесь с минуты на минуту и нагнёт вообще всех, кто окажется рядом.

¶ Патруль, однако, прибыл нескоро, как и было принято: Славик успел сокрушить одну из каменных ваз, украшавших парадный вход, но на этом устал, и его уже почти не было слышно. Из Высоцких никто так и не появился, и если бы не горящее в мезонине окно, можно было подумать, что внутри вовсе никого нет. Прислуга нажала на нужную кнопку, и ворота открылись, полицейские мрачно вошли, а с ближних балконов увидели, как неудачник сидит на пороге, ухватившись обеими руками за воротник куртки. Его вывели и погрузили без лишних тычков, до утра всё затихло, а там сообщили, что при досмотре у Славика отыскалось так много веществ, что возвращение его в посёлок откладывается на совсем неизвестное время. Это всё хорошо объясняло, и страсти, всколыхнутые ночной вылазкой, опять улеглись.

¶ С холодами Высоцкие свернули свой кинотеатр, ничего не предложив взамен основному пласту поселян,

и тогда же позвали к себе Инну Львовну из колледжа обучить девочек черчению. Вечно сорокалетняя И. Л., носившая лосины и плоский рюкзак, приходила к ним по понедельникам и четвергам, и впервые никто не мог здесь к чему-то придраться: всё совершалось по расписанию, И. Л. никогда не задерживалась в доме и ни разу не возникла у их ворот в необычное время. В декабре к ней прибавился гитарист Лилоян из музыкальной школы: с изумительно чёрными волосами, стянутыми на затылке в невзрослый пучок, и глазами античного бога, он появлялся на потрёпанном «Фокусе» по выходным и засиживался до позднего вечера. Всё шло ровно, пока Лилоян, как будто позабывшись, не приехал по новому снегу к Высоцким к началу учебного часа И. Л., которая как раз подходила к воротам с другой стороны. Без какого бы то ни было вступления между ними разыгралась невероятная перепалка, и И. Л., не стерпев, влепила мужчине пощёчину, а тот сгрёб её и повалил на капот, но удар каблуком опрокинул его куда-то под забор; чёртова сука, воскликнул тогда Лилоян, тебе просто ни с кем не везло, ты же просто собираешь здесь на старость! И. Л., не отвечая, встала на ноги, поправила пальто, вынула телефон, тихо поговорила и скрылась, а гитарист выбрался из сугроба, сел обратно в машину и, кажется, разревелся, но тилеманова мать, как всегда, не была до конца уверена. ¶ С той схватки И. Л. больше не занималась с девочками, а Лилоян, напротив, стал мелькать в посёлке так

часто, что успел надоесть даже Тилеману. Все ждали, что на Новый год Высоцкие устроят какой-то спектакль и потому не слишком готовились к домашним застольям, но тридцатого те демонстративно уехали из дома, и тоска опустилась на дворы и прилегающий лес. Тридцать первого Тилеман пришёл к матери утром и весь день слушал её фантазии о том, где и как отдыхают сейчас несравненные соседи: мама больше склонялась в пользу Лондона или Дубая, но и Куала-Лумпур был ей мил; сын же с отлётом Высоцких избавился от дурацкого чувства, что находится под бесконечным присмотром, и даже видимый в окно дом, обозначавший их власть, сейчас не тревожил его. Но Высоцкие бы изменили себе, если бы не придумали для поселян никакого подарка, и в полночь с боем часов во дворе их грянул изысканный салют, от которого улица вся осветилась как днём: над самыми крышами извивались свистящие синие змеи, вырастали зелёные банты, дразнились серебряные языки и багровые ромбы карточной колодой рассыпались по воздуху, приветствуемые гулом с балконов. А ведь ты ненавидишь их, выдала вдруг мать, пока Тилеман разливал шампанское, ты же здесь всех ненавидишь, но мы-то тебе приелись за годы, а они только въехали и ещё не успели, вот ты и тешишься по-своему, а мы по-своему. С Новым годом, сказал Тилеман, поднимая бокал, с новым счастьем.

¶ В новом году Высоцкие закупили для посёлка раздельные урны, перестроили спортплощадку, спилив

напоминавшие о плохом турнире, сделали вечер с приглашёнными из московских клубов стендаперами и издали альманах районным поэтам; ближе к чемпионату их двор превратился в фанзону, и когда *sbornaya* наконец проиграла, а болевший за хорватов Тилеман отправился спать, гости не удержались и выместили обиду, разбив установленных в саду «Короля и королеву». Утром Тилеман увидел, как рабочие выносят и грузят огромные осколки, всё ещё красивые и в этом поруганном виде, и ему стало жалко Высоцких, он заломил руки. Вечером того же дня позвонила мать и сказала, что те к осени ищут для девочек француза, и Тилеман должен с ними связаться; он вздохнул и начал было своё «ты же знаешь», но мать, перебив, наконец объявила ему то, о чём он и сам давно должен был догадаться: сёстры прикованы к креслам, они были в аварии и выжили чудом, но ходить не смогут уже никогда. И потом, напирала мать, им нужен такой, кто придёт к ним не с ле-пти-пренсем или чем там ещё для дошкольного возраста, а хотя бы с «Чумой» для начала: это всё-таки не твои недомерки, жёмапель-жедизан. Тилеман вытянулся на мысках, почувствовал, как заливается краской лицо, и коротко проговорил: хорошо, сообщи им. К тому времени Высоцкие уже расстались с Лилояном, и он не рисковал сцепиться с бешеным музыкантом под дверью; вообще у них будто бы не было больше постоянных гостей, а на каждые выходные приезжали всё новые люди, за которыми все устали следить.

¶ Утром перед уроком, когда он проснулся так рано, Тилеман впервые задумался о сёстрах и понял, что он не в состоянии представить, как они передвигаются в собственном доме, как сидят за столом и ходят в уборную; он даже не знал, как их зовут. Можно было убить оставшееся время, сочиняя для них имена, и он стал упражняться: Изольда и Леда, Кларисса и Сара, Вега и Спика, но это ему скоро надоело. Тьма слабела, безвидное небо над лесопильней разошлось, и мучительная алая полоса стала шириться в прорези; Тилеман смотрел туда, не щурясь и стараясь не моргать, как на испытании воли, пока не услышал из-за спины что-то вроде «отвёртка»: вздрогнув от страха одной половиной тела, он обернулся, но дом его был так же пуст, как и все эти годы.

¶ Для визита он выбрал узкие брюки и тесноватый старый пиджак, вроде бы приносивший удачу; из книг Тилеман взял фламарионовский альбом Ренуара, не слишком занудный, не слишком безвкусный, как надо. Стоя у самых ворот, он напоследок оглянулся на материнский балкон, но сдержался и не помахал, верный привычке не делать лишних движений на улице. В дом его проводила прислуга, а внутри Тилемана встретил Высоцкий-отец: он сказал, что сейчас уезжает, извинился за неловкость, воткнул готовый конверт куда-то в пиджак учителю и исчез раньше, чем тот успел что-нибудь возразить. Тилеман остался совершенно один в матово белой прихожей перед зеркалом в опаловой раме. Машинально

потрогав волосы, он сделал два маленьких шага по коридору в сторону проступавшей гостиной, но откуда-то сверху раздался фарфоровый голос: *monsieur Tileman, montez les marches s'il vous plaît, l'escalier est à votre droite. Un instant*, отозвался он и свернул куда звали: это была узкая, как в колокольне, лестница без какого бы то ни было намёка на подъёмник, высоко упирающаяся в витражную дверь: по всей вероятности, ход для гостей. Когда половина ступеней была позади, дверь бесшумно открылась, и Тилеман приготовился улыбнуться, но навстречу ему из проёма показался как будто бы жёлтый ботинок, покачнулся в воздухе и двинулся вниз; *attendez*, произнёс Тилеман, болтая головой, но по лестнице действительно спустился питон в роскошных пятнах. Учитель прижался к стене под светильником, не смея издать ни звука, руки его ослабли так, что он чуть не выронил Ренуара; полутораметровая змея деловито поползла мимо, не прикоснувшись к нему, подождала внизу и уткнулась к гостиной. *Vous êtes toujours là*, спросил фарфоровый голос; *j'arrive*, тускло ответил Тилеман и, преодолев остаток лестницы, вошёл в комнату к сёстрам.

¶ Сколько ни хлопотала потом тилеманова мать, добиваясь от него внятного рассказа о тех полутора часах, что он провёл в мезонине Высоцких, всё было бесполезно, хотя сын и явился к ней сразу после, подавлено-собранный, как с вызова к ректору. Ты не подходишь им, полуспросила она, но что уж: твои лентяи распустили тебя, пусть хоть это послужит тебе

встряской. Пусть послужит, повторил Тилеман, садясь за чай; голова болела так, что он был готов утопиться, лишь бы это прошло. Или ты уже научился общаться с людьми, продолжала выдумывать мать; никуда не показываешься, всех ставишь ниже себя, вот оно и сказалось. В надежде отвлечь и её, и себя Тилеман вытянул из пиджака полученный конверт, заглянул внутрь и завис: денег было положено как за десяток занятий, ни больше, ни меньше. Что за чушь, прошипел учитель, откуда они это взяли; мать же вскинулась, бормоча что-то совсем оголтелое, он уже не пытался понять. Вернувшись к себе, Тилеман набрал горячую ванну и, ужасно дыша и почти обжигаясь, опустился в неё; следующий ученик должен быть прийти к двум, и он отдал бы все, что лежало в конверте, только чтобы это время прошло поскорее. ¶ Вечером он ждал звонка от Высоцких, но, по-видимому, те считали контракт заключённым: телефон чернел так, словно всё на земле уже было для него решено. Он включил сериал, но слова и картинка разваливались в его голове на какие-то мусорные блики. Уже за полночь, понимая, что не сможет уснуть, он оделся, спустился на улицу и, невидя подкраившихся к дому, где всё ещё горел свет в мезонине, бросил своё жалованье в ажурный почтовый ящик. От такой простой акции ему сразу сделалось легче, и Тилеман даже пустился в прогулку по ночному посёлку, чего не позволял себе со школы: счастливо избегнув бродячих собак и отбитых подростков, он поднялся

домой победителем и быстро уснул. Впрочем, наутро, необъяснимо охваченный ощущением подвоха, он чуть проснувшись отправился проверить собственный ящик, и голос предчувствия не обманул его: вчерашний конверт возвратился, но внутри были уже не деньги, а сложенный во много раз невесомый чулок с мелким кружевным краем. Тилеман на минуту подумал, что над ним пошутил кто-то из поселян, подсмотревший его ночной манёвр, но потом пригляделся и прочел на внутренней стенке конверта бисерное *avec amour et impatience*. Он смял чулок и конверт вместе, затолкал комок в карман халата и вернулся к себе в самом тягостном расположении на оставшийся день.

¶ Кое-как оттоптавшись на трёх подряд учениках, Тилеман разогрел себе коробку паззлы и сел за розыски сестёр: у тех оказался как будто один на двоих инстаграм с пятью сотнями подписчиков, ничего сверхъестественного: открытки из Уфицци и Пало-Альто, с Гроде-Маркт и площади Трёх Властей, фотографии кулинарных стараний, давние триумфальные снимки с какого-то чемпионата по настольным играм. Он добавил закладку, выскреб из картонки остатки обеда и хотел уйти читать газеты, как всегда в это время, но дурацкий зуд заставил его обновить страницу сестёр: в верхнем левом углу теперь белели две тончайшие ноги, одна из которых была в парном к наяденному им в конверте чулке, а другая, конечно, раздетой. Тилеман сказал *merde* и закрыл сразу всё; подо-

ждав ещё, он хватил по столу кулаком с такой силой, что отшиб мизинец, и взвыл от обиды и боли. Вечером он уже никуда не выходил, хотя дома не осталось ни молока, ни нормального хлеба, ни хлопьев, а перед самым сном опять гипнотизировал телефон, но всё так же впустую. Спал он муторно, под окнами орали празднующие пятницу, тело то деревенело, то обращалось в совершенную слякоть, и даже до стакана с водой Тилеман доставал великим усилием воли, а под самое утро увидел, как затолканный в карман чулок разворачивается прямо в воздухе спальни, разрастается, выпрастывая по сторонам за коленом колело, пока не заполняет собой её всю.

¶ В субботу его ждали на ужин Матея и Герта, владельцы спорткара и реборна, из тех редких людей, кому Тилеман полностью доверял, но ему ничего не хотелось; он написал Матее, что не сможет прийти, и тот, почувствовав неладное, позвонил узнать, что стряслось. Застигнутый врасплох, учитель сначала смешался, но потом, отблеявшись, как мог изложил суть событий; Матея же развеселился и предположил, что у друга теперь есть где с лучшим успехом провести субботний вечер, и учитель поспешил завершить разговор. Сам себя ненавидя, он распахнул ноутбук, чтобы проверить инстаграм, и нашёл сестёр на новом *cliché* в костюмах из «Мулен Руж!»: старшую в чёрном, а младшую в красном, в одинаковых ожерельях, заметно пластмассовых, но всё равно колдовских. С ещё большим отчаянием он заметил, что

у них было уже не пятьсот, а восемь тысяч подписчиков, ждущих, стоило думать, продолжения этого маскарада; медленно выругавшись, Тилеман захлопнул экран, сполз из кресла на пол и принялся отжиматься, бросая между подходами затравленные взгляды на улицу, по которой вниз от лесопилки катились вороха жёлтых листьев.

¶ Несколько укреплённый гимнастикой, он решил сходить за едой; в ящике, разумеется, оказалась открытка с Лотреком, но и это не остановило его: второпях миновав два жилых двора и один больничный, Тилеман нырнул в раздвижные двери супермаркета и тут же, к своему облегчению, застал выбирающую помидоры мать. Та, однако, осталась стоять к нему боком, и, как будто продолжая свою позавчерашнюю речь, громким шёпотом заговорила: объясни, почему я должна стыдиться выйти во двор, где прожила шестьдесят лет, что ты делаешь, разве тебя не учили; ты бежал как предатель, ты знал, что тебя не догонят, и сидишь теперь на своём этаже, куда они могут добраться если только ползком или если родители отнесут их к тебе на руках. Тилеман хотел съязвить, что по крайней мере у них получается добраться до его ящика, и в доказательство предъявить Лотрека, но смолчал и стал тоже копаться в овощах. Это несправедливо, что на весь этот город ты единственный, на кого они могут надеяться, не успокаивалась мать; почему мы не произвели больше ни одного человека, кто был бы способен их вырастить. По-преж-

нему не отвечая, Тилеман удалился в молочный отдел, а потом задержался над витриной с охлаждённым мясом и здесь получил удар тележкой пониже спины: обернувшись, он увидел кого-то из среднего поколения химзаводских с характерным как из газетной бумаги лицом: можно было не сомневаться, что тот въехал в него не случайно; *pique ta mère*, огрызнулся Тилеман вслед уходящему, но при матери, снующей где-то между круп, не стал устраивать большого скандала.

¶ До подъезда Тилеман дошёл благополучно, в ящике за это время тоже не завелось ничего нового, но зато перед самой его дверью был нагромождён плотный вал из мусорных мешков, достигавший учителю до колена. Первым порывом его было просто сбросить всё к чертям вниз, но, выдохнув, Тилеман стрёб мохроватые пакеты и потащил их на свалку. Он полагал, что во дворе его встретят улюлюканьем, но все разбежались как крысы; взвалив мешки на спину, он уже со спортплощадки посмотрел на проклятый мезонин и увидел, что в окне вывешен плакатик *Tileman, viens nous éduquer*. Мрази, липкие твари, прошипел он изпод мусорного спуда, но и тогда не переметал мешки по одному через высоцкий забор, а терпеливо донёс до переполненных баков, в грубой тени которых отдыхали уродливые поселковые псы.

¶ Ночью Тилеман пил, дожидаясь вестей в инстаграме, и в третьем часу сёстры выложили чёрно-белое фото, где скорее на простыне, чем на скатерти стояли

один за другим два торта, изготовленные в виде девичьих задниц с воткнутыми в подходящее место свечами промышленной толщины; в углу была пристроена записка фломастером *Touchez pas, c'est pour T.* Адресат был уже слишком слаб, чтобы вспыхнуть или хотя бы всерьёз огорчиться, и от нечего делать зашёл почитать комментарии: неисчислимые мустафы и юсефы домогались, *mé cé ki se mes, kil me less 1 morso*, рассыпаясь в эмодзи; Тилеман листал и листал, всё менее понимая, зачем они всё это пишут. В самом деле, сказал он, якобы отвечая на магазинные реплики матери, почему я так близко, а они так далеко, их уже двадцать тысяч, я бы оплатил всем им чартерный перелёт; тогда же в горло толкнулась разбуженная тошнота и прогнала его от ноутбука. Когда он вернулся, на странице уже было видео, где младшая вынимала из торта свечу, оставляя зияющий след, и брала её нижний конец к себе в рот; желудок его содрогнулся вновь, но всё было вырвано, он устоял.

¶ Назавтра он сел проверять накопившиеся сочинения и провёл за этим счастливых полдня, не отвлекаемый никем. Ученики его были скучные дети, без мечтаний и убеждений, путавшие Людовиков и Бонапартов, за исключением разве что мальчика Саввы из медицинской семьи, чьи мама и папа тоже как-то гостили у Высоцких, хотя бы и порознь: Савва мог выучить больше одного четверостишия, отличал Дега от Делакура и не выдумывал несуществующих глагольных форм; от остальных Тилеман не мог добиться

ся и этого. В первые годы он ещё по временам думал, что проблема не в них и что он просто скверный учитель, никого не умеющий растормозить, но потом перестал себя в чём-либо подозревать, стал сух и безжалостен, и только при Савве разрешал себе вдруг пошутить, но ругался, если мальчик не сразу улавливал суть. Закончив с тетрадями, он подумал, что Савва мог бы отвлечь от него сестёр и что свести их было бы нетрудно, учитывая знакомство между родителями, и в тот же самый момент на столе загудел телефон: *bonjour Savva*, не испугавшись ответил Тилеман, *qu'est-ce qu'il y a?* Простите, сказал мальчик, но я больше не стану заниматься, и это я решил сам, а не папа и мама, мне не нравится, что о вас говорят. Тилеман помолчал, рассчитывая на подробности, но мальчик ещё подышал в микрофон и повесил трубку.

¶ На неделе от него отказались ещё четверо учеников; он прощался спокойно, просил передать старшим его благодарность, и не сдержал себя лишь с занудным армянчиком, который всё никак не мог договорить, что же он «подумал и понял»: давай я скажу за тебя, что ты там осознал, предложил Тилеман: ты не можешь учиться у человека, которого вдруг сочли недоделанным, потому что когда недоделком считают тебя, это вроде бы ещё можно терпеть (ты же терпишь и в школе, и дома), а когда в тот же ряд записывают кого-то из старших, это становится невыносимо: ты же веришь сейчас, что с возрастом это пройдёт, а тебе сообщают: нет, необязательно.

Мальчик чем-то заскрежетал и распался на короткие гудки; мелкая сладость сомнительной мести почти не утешила Тилемана, оставшегося уже без половины месячного дохода, и в тоске он позвонил матери, чтобы просто пожаловаться, но та предпочла не отвечать. За продуктами он приходил теперь ближе к закрытию, но и в пустом супермаркете его задевали набранные с поселка раскладчики, а на кассе хамили дешёвки из колледжа. Тилеман всякий раз отвечал нападавшим, но внутри себя уже примирился с тем, что проиграл; можно было радоваться хотя бы тому, что они перестали сносить мусор к его двери и физически не могли ничего забросить в его высокое окно. Те же ученики, что ещё поднимались к нему, становились почти так же развязны, как шкуры за кассой: он стучал на них тростью, язвил остротами, выматывал прописями и скороговорками, но это они уходили от Тилемана со щитом, а он оставался один на своем пепелище.

¶ В ночь на очередную субботу хлынул дождь, так что уличные синяки убрались по своим конурам; Тилеман открыл все окна, и комнаты наполнились тёмным шумом воды, низвергавшейся с крыши. Хотя у него теперь было в два раза меньше работы, он чувствовал себя до последнего вымотанным, но спать всё равно не хотелось. Всю неделю он не проверял сестринский инстаграм, сберегая себя от дополнительной досады, и теперь заглянул на страницу: знаменитое видео с младшей было потёрто, а новых по-

стов не висело; но Тилеман не успел даже подумать, что сестёр, возможно, отпустило, как они показались опять: щекой к щеке прижимались их лица в траурном гриме с чёрной буквой Т, занимающей брови и нос, пока глаза изображали мультипликационную скорбь. *Pourquoi si TrisTe?*, спрашивала подпись, и сочувствующие арабы то ужасались, то просили увидеть *le reste du kor*, то угрожали расправиться с тем, кто заставил сестёр так грустить. Подождав, не появились ли страницы чего-то ещё в его честь, Тилеман распечатал печальный портрет и поджёг на балконе: пламя слизало сначала половину старшей, а после, помедлив, прикончило младшую и вернулось за первой; опустошенный, он выбросил остаток бумаги под дождь.

¶ Когда ещё трое школьников объявили, что не будут учиться у Тилемана, он собрал самые нужные книги, поместившиеся в один спортивный рюкзак, взял ноутбук, внешний диск, шнуры и остатки коньяка, спустился во двор и встал под окнами матери: было девять утра, она должна была уже проснуться. Давно не встречавшие его на свету поселяне проходили роняя нечёткую брань, но не задевали его даже за рюкзак. Он стоял, вспоминая какие-то детские драки и травли, некрасивые игры, спущенные штаны и первый удар между ног, отравленных кошек, наезжавших сектантов со звуковой аппаратурой, боевых инвалидов, алкоголика, похожего в профиль на сгнившего Пушкина, агитаторов за коммунистов, а позже

мошенников с лазерными аппаратами, косоротых ментов и глухих слесарей, фальшивых электриков, впаривавших замену счётчика, коллекторов с краской в баллончиках и утырков, бегающих теперь по закладкам в лесу: тридцать лет шевелящейся грязи, одна только мама и светила ему,— и когда она наконец отодвинула занавеску на кухне, Тилеман почти уже плакал.

¶ Переселившись в родительский дом, он сдал свою площадь команде из Узбекистана, спровадил двух последних неведомо как задержавшихся в обойме учеников, оставил бриться и взялся за комментированного Пруста, купленного на старость ещё в университетскую стажировку. Ещё в самом начале «Свана» Тилеман допил коньяк, но даже не пожалел, что тот кончился; когда на полдня подобревшая мать предложила купить ему новый, он не понял, к чему это. Отрываясь от чтения, он отжимался или приседал сотни, тысячи раз, пока не изнемогал, и тогда возвращался обратно за книгу. Мать жила на втором, и он старался не мелькать перед окнами попусту; день сжимался медленней, чем хотелось бы Тилеману, но он готов был терпеть, и каждый вечер послушно отмечал в ежедневнике минуту, когда солнце покидало двор. Если к матери заходили подруги, он становился прекрасно бесшумен, и даже с открытой дверью в его комнату никто не мог догадаться, что он сейчас там. Матей и Герта по-прежнему писали ему, приглашая к себе в обыкновенное время, и он не мог сооб-

разить, что ответить: начиная печатать как бы наудачу, спотыкался о каждое слово, как его бывшие ученики на уроках, и стирал еле набранное подчистую. ¶ По выходным у Высоцких были кукольные представления, выступали столичные лекторки: мать ходила повсюду и всё пыталась что-то ему пересказать, какие бы пустые глаза ни делал ей сын; хорошо ещё, что ему не передавали с ней ни *petit soucou*, ни чего похуже. К концу первого тома Тилеман уже мало заботился о том, что происходит теперь в его квартире или в инстаграме у сестёр; плечи его раздались так, что навряд ли кто посмел бы въехать в него магазинной тележкой, но проверять это было неинтересно. В октябре посыпался выморочный снежок, завелись батареи, самый мозг стал ленив, и в какой-то из дней он всё-таки попросил маму купить ему новый коньяк, что было исполнено. Ночью Тилеман пил, пока не перестал различать буквы в книге: казалось, что всё происходит глубоко под землёй, в янтарном аду, ещё не знающем, как поступить со своим заключённым. Утром же поднялось такое пронзительное, последнее солнце, что он впервые с того дня, как укрылся у матери, вышел в чём был на балкон под его ледяные лезвия и, освоившись на холоде, посмотрел вниз: на асфальте под самыми окнами лежали огромные белые буквы *Tileman n'a pas de queue!*, плохо скрываемые неподметённой листвой.

¶ Скачущими руками он выгреб из-под ванны все железные банки с остатками охры от здешних ремонтов,

отодрал прикипевшие к кафелю кисти, влез в первое попавшееся на вешалке пальто и выскочил во двор, чтобы замазать паскудную надпись, но на него пошли сразу из всех углов, он не успел бы исправить и одной буквы. Тилеман метнулся обратно, но двери уже перекрыл молодой толстяк с ротвейлером; справа масово наступали жлобы с химзавода, и бежать можно было только в сторону леса, сквозь не слишком уверенно вставших подростков: он швырнул в них банкой и бросился следом в приоткрывшийся створ.

¶ В узком месте на самом краю двора ему предсказуемо заступила дорогу короткая клуша с коляской, и он опрокинул и ту, и другую; проскакивая спортплощадку, он не мог не взглянуть на проклятый мезонин и увидел, как окна его горят немигающим красным и как вялая влажная мякоть сочится из них, словно бы из раздавленных ягод. Олухи из ближних гаражей тоже устроили что-то вроде засады с распахнутым люком, но Тилеман легко обогнул их, миновал котельную и наконец свернул в лес, пахнущий сейчас так сладко, как будто всё ещё могло закончиться хорошо.

¶ Он петлял на бегу, надеясь, что они упустят его из виду, но то одни, то другие выдвигались вперёд в ораве преследователей, и Тилеману не удавалось ни затеряться, ни оторваться подальше. Пальто только мешало, он скинул его на землю и стал забирать к полигону, рассчитывая, что, если он сможет заманить поселковых поближе, то из части откроют стрельбу;

эта мысль увлекла его так, что он расхохотался, и тогда же запнулся о невидимый в листве корень, упал и проткнул себе ногу чуть выше колена. Догонявшие подошли к нему не спеша и почти ничего не сказали, замкнув тесный круг.

¶ Когда Тилеман понял, что его тащат к пруду, он из последних сил забился во многих руках, и его даже вырвали, но тотчас подхватили снова; обезумев, он всё же узнал среди них и Лиюяна, и докторшу Краплеву, и даже первого Славика, как-то вырвавшегося ради этого дела из орловской тюрьмы. Жёлтая вышка теперь почти сливалась с лесом и берегом; его прижали к ней спиной, для надёжности сунули кулаком в печень, привязали его руки так, что даже не было видно, и с поразительной прытью покинули место. Широко раскрыв рот, он глотал налетающий ветер; отдалённые сосны, извиваясь, вытягивались до самого неба. Мутное облачко, висящее над отяжелевшей водой, как будто просилось к нему на колени, Тилеману хотелось погладить его, но мир был уже недосыгаем, неудержим. Икая и вздрагивая, он прислушивался, как двуглавый зверь движется сзади него, как растёт его запах и жаднее дыхание, как вскипает слюна у него на клыках и плавится под раскалёнными лапами сорный солдатский песок.